

Сторублёвая курица

Татьяна Мокевна сорок лет стояла с наганом у ворот фабрики, где разводят летающие бактерии, которые, при случае, могут сходу атаковать вражеский самолет. Наган у нее был старинный, с деревянной круглой рукояткой, похожей на ручку мясорубки. Но выдерживать наган из-за пояса удобно: ручка охватистая и шершавая.

Татьяна Мокевна смотрит на любого человека пристально и с прищуром — профессиональная мода. Смотрит Татьяна Мокевна с прищуром, а шагает широко, четко и прямо, в такт взмахивая подсогнутыми в локте руками. Как старшина в отставке.

Юбка на Татьяне Мокевне синяя, шерстяная, без синтетики, в охране синтетика не в чести, гимнастерка зеленая, тоже без синтетики, и синяя, как юбка, шапка-берет. Ну, конечно, зеленые, под гимнастерку, носки и черные ботинки.

В чем ушла Татьяна Мокевна на пенсию, в том и по деревне ходит, для строгости традиций: не менять же психику перед новой одеждой. Все в человеке должно быть привычно, известно, понятно и надолго. Так ее за сорок лет натренировали в штабе охраны. И стояла Татьяна Мокевна у фабрики с бактериями сорок лет и сорок лет по-советски щурилась... Р-раз — и прищурится! Р-раз — и прищурится!

Но и странности случались при исполнении военных обязанностей на посту с Татьяной Мокевной. Вдруг она отпадает на минутку от бдительности и, как в обмороке, держась за будку, вращает головой от плеча до плеча. Не часто с ней затевалась такая химера, но за смену, за восемь часов, три или четыре приступа, примерно — через час и десять минут каждый.

После химеры Татьяна Мокевна дичала, и когда перед ней раскрывали пропуск,

впивалась оком в предъявителя и пугала: — Вот я в тебя выстрелю! — Но кто верил? Татьяну Мокевну уважали и берегли. Лишь Гришка Малахай, фамилия такая азиатская у него, что-то интересное знал о химере Татьяны Мокевны, и если наступал на нее за крутением головы, хватал двумя пальцами за нос мгновенно. Сдавливал, пошатывая нос туда, сюда и обратно, туда, сюда и обратно, отпускал и успокаивал: — Сиди, Таня, и всё поперхнется! — Таня садилась на табуреточку возле будки, веселела, позже, улыбаясь, подпрыгивала, срывала с затылка шапку-берет и принималась чихать.

А из противоположной будки ей в ответ принимался чихать Малахай, и он охранял фабрику с бактериями, и на нём форма, только вместо юбки синие брюки. Григорий Малахай чихал заразительно, с тонким затяжным недоумением. Вслушиваясь, благодарная Татьяна Мокевна посылала Малахаю мысленный поцелуй. Так они и чихали всю смену: от забора до забора, от будки до будки.

Некоторые рабочие говорят: у них, у Татьяны Мокевны и у Григория Малахая, что-то в молодости было, а потом расстроилось, некоторые наоборот считают — ничего у них не было, а спаяла их накрепко суровая служба и готовность к взаимной выручке. Малахай выручал Таню в минуты химеры, а Таня выручала Малахая: ее, женщину, не проверяли, и она прятала за груди плоскую баклажечку спирту, а за проходной возвращала горячее Малахаю. Но есть и те, кто считает: у Мокевны и Малахая — повесть только начинается...

Сорок лет они дружили и сорок лет находились в одиночестве. Татьяна Мокевна любила дома, свернувшись калачиком на кушетке, лузгать жареные семечки, а Григорий Малахай дома, дернув чарку, другую неразведенного спирта, любил жареную курицу. Оба они освобождались от оружия при смене караула и не спеша прощались за проходной.

Но перестройка внесла и в их наезженную колею коррективы. В подобном контексте и поползли разговоры по фабрике. Директор, кандидат биологических наук, избранный без альтернативы на местком при дальнейшей профсоюзной демократизации и гласности, Федор Потапыч, вертлявый бабник. Обожает говорить и собирать митинги. Приляжет маненько бочком на трибуну и лизнет губой губу, как сом, высунувшись из воды, и: «Активизация, конкретизация, герметизация, приватизация и дезорганизация!».. Умрешь.

Утром, перед работой, бреет башку, вдоль и поперек, японской машинкой, массирует немецким моторчиком, трет русской мочалкой, моет испанским порошком и овеивает китайским полотенцем. До бразильского кофе — читает журнал «Наука и жизнь». Там статья его напечатана. Печататься он мастер. В своей фабричной многотиражке «Кузнечик» печатается в основном один. А для «Науки и жизни» ему пишут умные, почти как он сам, помощники и консультант-естествовед Винивитская Лаура Аркадьевна. Вместе с Федором Потапычем Лаура Аркадьевна, след в след, а то и рядом, находится в командировках по стране и за ее рубежами — конверсия.

На днях Федор Потапыч собрал трудящихся фабрики, даже охрану снял и пригласил в зал, где ясно обозначил контуры перестройки на биологической фабрике адекватно принципам процессов обновления, происходящего в регионе. Прерогатива — разводить белых, белых бабочек, ловить и продавать за валюту Эфиопии. Смуглокожее население братской страны предпочитает белый цвет. Что касается валюты — пока будет с нами рассчитываться кокосовыми сливками, а там и — золотом...

Международная комиссия, состоящая из крупных ученых, выяснила: на биологической фабрике, расположенной в районе РСФСР — 5, разводят не боевые бактерии, а кузнечиков, стрекочущих на сенокосе в зеленых лугах: «Тр-ри-ти-иль! Тр-ри-тиль!» И конец. Остальное — домыслы, происки врагов, мещанские сплетни, лишённые научного анализа. И справедливо в каждом номере многотиражки «Кузнечик» директор утверждал гуманную суть вверенного ему предприятия.

Федор Потапыч объявил тотальное сокращение кадров перед вступлением в Европейский рынок, назначил главным экспертом по приему продукции Лауру Аркадьевну Винивитскую, женился на ней, поскольку общечеловеческие ценности выше прежней супруги и идеи, и уволил дюжину охранников на пенсию. У ворот фабрики вместо «Вход строго запрещен!» привинтили: «Добро пожаловать!». Начался бескрайний революционный эксперимент.

В связи с завершением большого биографического этапа в судьбе охранников, Татьяны Мокевны и Григория Малахая, они и решили отметить солидный итог пройденного совместно сурового пути. Татьяна Мокевна пригласила к себе на ужин Григория Малахая, не откладывая — в субботу. В пятницу, перед сном, она впала в краткую химеру. Григория Малахая рядом не оказалось, поймать ее за нос было некому и ей привиделось. А привиделось ей лишь только тогда, когда ее не брали за нос и не пошатывали туда, сюда и обратно. Когда же пошатывали, как Малахай у будки, ничего в перспективе не ощущалось.

Да и дома ей никогда в настигнувшей ее химере ничего не виделось, она как бы делала позу, что ее держит за нос Малахай, и кошмары исчезали, не появляясь на горизонте чудесного воображения Мокевны. Но в пятницу... В пятницу произошло то, чему у них в охране название — ЧП.

Спустилась мгновенная химера к Татьяне Мокевне, и Мокевна обмерла... С небес, будто, на фабрику легонько отделился от огненного облака белый треугольник, и в кабине у него сидят четверо. Первый — Черненко. Второй — Брежнев. Третий — Андропов. Рулит — Горбачев. Брежнев сидит — ордена на пиджаке считает. Черненко — количество в блокнот вписывает. А Юрий Владимирович Андропов — с прищуром, как Таня, за Горбачевым присматривает. Так и летят в треугольнике на биологическую фабрику. Не к безобразию ли такая химера?

Тебе, читатель, наверное, смешно, а Татьяне Мокевне не до смеха и не до фантазии. Летят, а у ворот фабрики — Федор Потапыч с Лаурой Аркадьевной. Она, Лаура Аркадьевна, на полтуфельки впереди, и ладошкой им, партаппаратчикам-гуманоидам, финтифуть, финтифуть. Слезли по трапу. Горбачев: — Ну, Потапыч, как идет на фабрике перестройка? — И — началось...

Из карманов пиджака Потапыча и жакета Лауры Аркадьевны Винивитской выпорхнули стаи, сообща выпорхнули, белых бабочек и давай перелетать с Черненко на Брежнева, с Брежнева на Андропова, с Андропова на Горбачева, и виться, виться. Лаура Аркадьевна Винивитская вьётся и бабочки вьются... А Горбачев порылся у себя в карманах и смеётся: — А черные у вас есть? — И вспорхнули на инопланетян — черные.

И пошла у фабрики канитель. Белые мимо черных — на тех, а черные мимо белых — на этих. А одна, черная, черная, села на лоб Федору Потапычу и: «Жи-жи!».. К добру ли такая химера?

Утром Татьяна Мокевна, стараясь забыть о вчерашней химере, разделявала купленную в девятичасовой очереди курицу. Подпалила один бочок, потом другой бочок, подпалила крылышки. В магазине-то куры — кучерявые, бросят на прилавок — ешь... Да и кучерявых-то нет. А химера — ничего. В юности, бывало, Сталина увидит — снизят к 8 марта на 8 копеек цену на галоши. Сталин не подводил. А эти — улетят, прилетят, а

кроме того, как надбавить на галоши восемьдесят рублей, ни на что не способны. Мокевна и Потапыча, и Лауру Аркадьевну причислила к ним. Причислила и, «Жи-жи!», отодвинула химеру.

До щелчка вымытую курицу Татьяна Мокевна положила в большую чашку и вышла из кухни в огород нарвать петрушки. Рвет она петрушку и чувствует — махинацию. Входит на кухню — курицы нет. Большая чашка на столе, а курицы нет. И Мокевна понимает — не химера это. Чашка — без курицы. Хорошо: на улице август, тепло и низкая избенка у Мокевны, ступила — и на земле. Но курица приобретена за квартальную премию!

Выбегла за калитку. Прищурилась — до линии мушки вроде... Глядь, а белый кобель, не деревенский, ошейник на нем с шёлковым плетеным шнурочком, — белый кобель виляет задницей, а курица, как трубка, у него в зубах. Несет курицу, как бы курит, гад. Вот и химера. Увидишь пустяк, а потеряешь деньги.

Нет, эти к добру не мерещатся... Бабочки белые. Собака белая. Ясно. А черные бабочки к чему? Белый кобелина уходил из прищур и уходил. Постоит — тронется, постоит — тронется, и она так: постоит — тронется, физкультура.

Мокевна решила перехитрить его, и через проулок, наперек, сильно сокращая расстояние улицы, где уходил кобель, взяла опять же сильным креном наперек, и затаилась в конце деревни за кустами, которых кобелю не миновать, дальше — тракт. Привстала, по-звериному, на четвереньки, ждет момента скакнуть и отобрать курицу. Ждет, а кобеля нет. Ждет, а кобеля нет.

И услышала Татьяна Мокевна некоторое дыхание. Подобралась и напряжинилась. И вот дыхание — за кустом. И — вот... И Мокевна скакнула. Кобеля шарахнуло так, что он перелетел на другую сторону конца улицы и, пятясь, взмолился: — Таня, укороти себя, это я, Гриша Малахай!.. — Григорий Малахай чутко улавливал движения возбужденной Мокевны и, принимая меры безопасности, держа ее ласкою подле куста, успокаивал: — Мокевна, это я, Гриша Малахай! Мокевна, это я, Гриша Малахай!

Мокевна вздрогнула и обернулась женщиной: — Ах, Гриша, а чиво ты так рано, я ведь и курицу тебе не успела приготовить!.. — Малахай словно проник в разбитое сердце

Мокевны. Он молча погладил ее по берету, и они молча двинулись в сторону низкой избы.

Внезапно за лесом заухало. Кинуло желтые осенние листья в ноги Тани и Малахая, и белые, белые снежины, шустрые, как бабочки, запорхали в мокром воздухе. А они — шли. Двое — шли. А один, этот дебилорылый ненасытный городской кобель, дожевывал вкусную сторублёвую охранницу курицу под корнем здорового дуба, шумящего за околицей, и обижался: «Миниатюрная, мог бы и потолще хапнуть, да у кого?» На дубу каркали от зависти черные вороны, сваливаясь и клубясь над белым огромным кобелем, как тяжелые черные бабочки: «Жи-жи!..»

Вот и — химера! А отпадать от бдительности Татьяна Мокевна научилась давно. Муж у нее был, друг Малахая, жестянщик. И по выходным дням он в сарае выстукивал на мисках и тазиках партийные мелодии. Чинит — и выстукивает, например, «Интернационал»:

Вставай, проклятьем заклеянный,

Весь мир голодных и рабов!

Иногда к ним приходил Малахай и они втроем под выстукивание пели. Мокевна увлекалась и высоко брала, вот и хватал её, шутя, за нос ласковый жестянщик, муж ее. Но стряслась беда с ним. И на работе, и дома день и ночь начал выстукивать «Интернационал». Поймали его как-то и увезли куда-то лечить. Так и не вернули...

1990